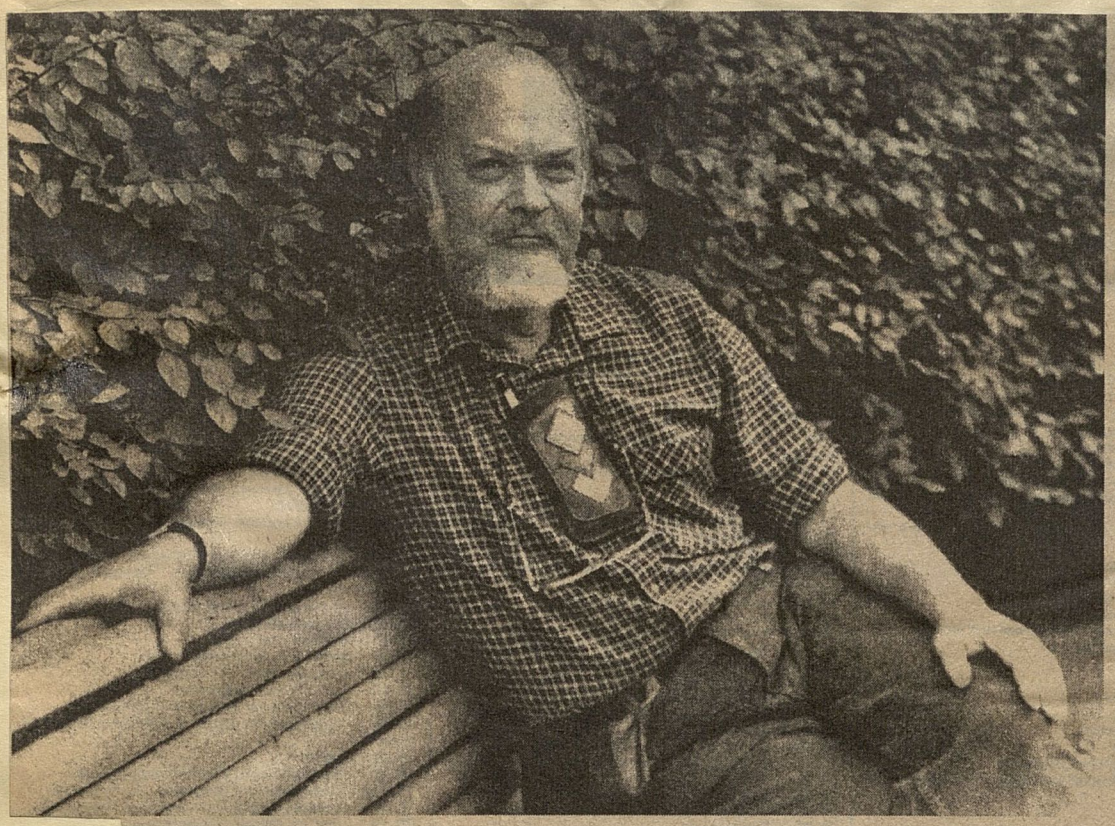
26.8.95.

Аннинский Лев



Клубные встречи

Накануне встречи с Львом Аннинским — он мне приснился собственной персоной. И почему-то с пистолетом в руке. Что за притча? Вероятно, такая картинка всплыла из подсознания по ассоциации с той исключительной меткостью, которой обладает слово этого блестящего критика и литературоведа, известного любителя парадоксов.

Веч. клуб. – 1995. – 26 авг. – с. 7.

Лев АННИНСКИЙ:

«Меня научили быть клоуном»

— Лев Александрович, как-то один коллега назвал вас Панглосом. Как вы это объясните?

— Было дело, да. Панглос, который у Вольтера отвечает, что бы с ним ни случилось — все к лучшему в этом лучшем из миров. Я что-то такое комментировал, какую-то гадость очередную: ну ничего, мол, ход вещей все равно перевернет к лучшему, и надо верить в ход вещей. И мой коллега Лазарь Ильич Лазарев, процитировав это, сказал: тут такое делается — а ему все к лучшему. И я отвечал ему иронически: да, Панглос, разумеется. Можете верить, что я дурак, — пожалуйста. Что я простодушный. Меня все дурное и огорчает, и обескураживает, и приводит в ярость и отчаяние. Но никогда не нужно эти чувства выдавать — следует делать вид, что все равно все будет хорошо.

— То есть такая цирковая роль?

— Абсолютно цирковая, скоморошья, балаганная. Это же свойственно вообще русскому характеру — прикидываться дурачком. А что — нет балагана во всем, что происходит? Сплошной балаган. Только я его балаганом не называю, потому что я сам балаганный человек в этом балагане — значит все сходится. А делать вид, что я умный, который попал в этот балаган, глупо. Потому что никакой я не умный — я сам этим балаганом создан. Каковы мы — таков и наш балаган. И делать вид, что мы возьмем с Запада другой балаган и он будет лучше, — тоже глупо.

— А вы никогда не хотели стать клоуном?

— В юности? Нет, ну зачем. Я собирался стать серьезным критиком. А клоуном я поневоле стал, постепенно втягиваясь в эту игру. Система, которой я предлагал свои тексты, говорила: ты, может, и прав, но это писать нельзя. Другой бы сказал: "Почему нельзя? Все равно я буду!" А я — ага, ладно, и это же самое пишу так, как будто вру, прикидываюсь, шучу. И говорю: ставьте частицу "не", пожалуйста. Потому что задача-то какая: чтобы человек это воспринял, пусть в отрицательном виде, пусть с частицей "не" — как угодно. Впрямую сказать нельзя — зато внушить можно. Значит, на голову встань — и все. Они научили меня быть клоуном.

— Но это расчет на понимающих людей.

— Я рассчитывал на абсолютно каждого. Понимающий человек тут же тебя выдаст своим пониманием, а непонимающий обругает — но вынесет **это** в клетках своего мозга. А потом поймет. Или еще лучше — просто почувствует.

Вы вправе спросить: а ради чего ты так на уши становился, что ты такого ценного хотел сказать? Могу объяснить. Вот, скажем, году в 62-м считалось, что главное — угадать правду. Не ту — так эту. Была правда журнала "Октябрь" — правда партийных организаторов жизни. В ней была своя реальность, потому что народ по этим правилам жил, каждый все отдавал, все как-то распределялось и как-то по-дурацки потом возвращалось — не туда, куда надо. А "Новый мир" говорил: нет, нужно другую правду выбрать, вернуться к правде народников, революционных демократов, к правде народа. Я же думал, что и то, и другое — чушь собачья. И тут, и там ровно столько же самообмана. Не из народной ли этой правды родилась вся та партийная система, которая их мучила? Из того же Чернышевского вышел Ленин, из Ленина вышел Суслов. Поэтому я говорил: не это может помочь нашему человеку. Натолкнулся на французских экзистенциалистов, которые говорили: мир абсурден, мы ничего не добьемся, но мы должны **это** делать, потому что мы **должны** это делать, — и все.

Я и говорил: мы заброшены в эту абсурдную реальность, висим в воздухе. И вот, вися в воздухе, прядя ушами, суча ногами, — изволь оставаться человеком. Почему? Не знаю, почему. Просто так. Вот что я внушал. Мне нужно было, чтобы прошли мои слова: "заброшенный", "абсурд", "мнимый абсурд", "стою на голове". Слова, которые создавали ауру. При этом я все время как бы что-то доказывал, какую-то мысль.

— Но главное — уж слово молвлено.

— Именно! Воробей! Я стаи воробьев выпускал. И давайте я частицу "не" вставлю, где вы скажете, пальцем покажите. Они же не могли уловить ритма. А все дело-то было в ритме, который окрашивает слово, в иронии. Я тут был хозяин.

Однажды честный человек цензор сказал мне: "Я не понимаю, но чувствую, что тут что-то не то. Ты давай по-честному скажи: что тут не так?" Я тут же сообразил, чем могу пожертвовать, и из десяти пунктов ему один выдал. И он успокоился, и статья прошла. И я ему был благодарен — другой, почувствовав что-то и не соображая — чего, всю статью или вытаптывал, или просто рубил. Вот так я стал клоуном.

А еще одна моя коллега — Инна Соловьева — так сказала: "Левушка стоит перед Богородицей на голове — но в этом нет кощунства". Это было сказано в свое время про одного французского жонглера. У него умирала дочь — и жонглер стал молиться, чтобы она выздоровела. И дочь выздоровела. Жонглер пришел к изваянию Богоматери — и не знал, чем ее отблагодарить. Он умел только жонглировать. И он стал перед нею жонглировать. И Богоматерь заплакала... Вот почему надо на голову становиться — если другого ничего не умеешь.

— Но вот сейчас можно свободно любого воробья пускать...

— Нет, нельзя. Потому что цензор пересел в подкорку каждого человека. Каждый боится самого себя. Он боится правды, он все равно мифологию строит, не называет вещи своими именами. Поймите: человек слаб, подл, ничтожен, и то честное, высокое и святое в нем, что заложено природой, Богом, им самим, — оно всегда заключено в чудовищную оболочку бессилия. И он не может сказать это себе прямо, не может этой правды выдержать. Правда в том, что его уничтожают не какие-то там потусторонние силы, а такие же, как он, слабые люди, которые в куче, в толпе — потому что на всех не хватает.

В этой ситуации все кричат: "Вот мы говорим правду!" Но, во-первых, никто никого не слушает в таком гаме, а во-вторых, эту правду человек сам же и отвергнет, потому что она его обессилит. Поэтому я ему эту правду говорю, опять-таки делая вид, что я с ним шучу. Но уже не Суслова я боюсь, а его самого, потому что как только я скажу, что говорю ему правду, — он меня пошлет куда подальше. А когда я ему скажу: "Не хочешь — не слушай, а врать не мешай", — он прислушается. А я ему воробьев пущу. Или ежей в постель.

И откуда я знаю, что я буду завтра доказывать? Я же вам сейчас ничего не доказываю — я исповедуюсь. И ему исповедуюсь.

Сейчас я пишу столько, сколько хочется, — и все печатают. Но — не читает же никто, так что ситуация еще и пострашней. Раньше любой намек проскочит — и уже кричали: "Куда ты клонишь? Что ты имел в виду?" Вот как читали! А сейчас можешь что угодно, стоишь на ушах, а никто не замечает. Никому не интересно.

— О Стасове говорили, что он обладал удивительной способностью пьянеть от помоев. Вы на этом себя не ловили?

— Пьянеть от помоев — сколько угодно. Более того, я настаиваю на том, что в помоях ровно столько же реальности, сколько в чем угодно. Потому что помои — это просто вещество жизни, которое отброшено навсегда или на время. Помои — это новое сырье. В жизни нет нереальности. Все — реальность.

— Можно из кровати сделать пулемет.

— Абсолютно. Если ты в сознании имеешь пулемет — ты его и сделаешь из кровати. Если ты в сознании имеешь кровать — ты сделаешь ее из пулемета. Значит, дело не в том, как кто согнул трубу, а в том, что у тебя в сознании. А там у тебя всегда реальность. Скажете: а ложь? А ложь — это вывернутая реальность. Значит, нужно знать коэффициент поправки. И я понимаю Стасова. Дело в том, что иногда противно — а интересно. А иногда нравится — и скучно. Бывает это и в литературе. И кто мне твердо различит: помои или не помои?

Бывают стихи и хорошие, и плохие. И вот критики занимаются тем, что объясняют, какие стихи хорошие, а какие плохие. Никогда я заняться этим не мог. Во-первых, мне было стыдно судить. Я сам не способен написать хорошие стихи — и почему я буду объяснять кому-то, как он написал? Во-вторых, хорошо или плохо он написал — это его личное дело. И, в третьих, самое главное — плохо написанный текст точно так же говорит что-то о реальности, как хорошо написанный текст. Я просто знаю коэффициент поправки.

— Но читать-то его паршиво.

— Но это мне его читать паршиво. Но я-то читателю не предлагаю читать плохой текст. Я предлагаю читать то, что я написал по поводу плохого текста. И я его никогда не буду раздалбывать или расчехвостивать. Я расшифрую этот текст как косноязычное мычание реальности.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с литературой?

— Она, конечно, очень драматична. После того, как целая Россия жила словом и мы выросли как бы на ветвях этого слова разросшегося... И наблюдать сейчас, как все вянет, обламывается, — трагично. Это в общем конец той реальности, ради которой я жил. Но, с другой стороны, начинаешь думать: ну, наверное, и это по-своему как-то нормально. И тут Панглос приходит мне на помощь: все к лучшему в этом лучшем из миров — потому что может быть несравненно хуже, чем сейчас.

— Можно сказать: Россия жила словом, а теперь начинает жить делом.

— Да, сказано хлестко, но, наверное, точно. Но ведь слово, которое подчинено делу, оно упускает абсолют, отношение личности к Богу, отношение последней истины. В конце концов дело оказывается той сухоткой, которая сушит все. Дай Бог, чтобы по крайней мере дело делалось. Но ведь бессловесный человек все равно не сможет жить. И тоску по абсолюту он все равно будет испытывать.

— Как вы воспринимаете положение с Союзом писателей?

— Я продолжаю мучиться от факта раскола. Вот и от факта раскола Советского Союза я мучаюсь до сих пор, потому что это глупо и кощунственно — развалить то, что собирали поколения отцов, дедов и прадедов, собирали кровью. Вы понимаете, есть какая-то человеческая подлость, пакость в том, как это было сделано и как все радовались.

— Подозреваю, вы не поклонник детективов...

— Ну в юности когда-то читал. Мне всегда жалко времени и энергии разгадывать это. Меня не нужно развлекать, мне не нужно заполнять паузы в моей жизни. Мне и так настолько интересно то, что происходит: начиная с этой скамейки, где мы сидим, и кончая теми помоями, о которых вы меня спросили. И когда я чувствую, что кто-то хочет меня развлечь, вызвать интерес к тому, что он там чего-то накрутил, у меня это вызывает бурную реакцию отторжения.

— Вы не любите развлечения в литературе?

— Ну если мне делается смешно, я с удовольствием смеюсь. Но чтобы я специально пошел куда-то развлекаться — все равно буду искать в этом какую-то реальность, а не развлечение.

— Но будете смеяться, читая, допустим, Хайдеггера.

— Гегель иногда такое завернет, что смеешься. И Хайдеггер тоже. Я читаю Станислава Ежи Леца — это мой любимый философ — и иной раз взорвешься от хохота. Но ведь не за этим его читаешь, а затем, что он тоже исповедуется Богу через меня.

Если меня заставят делать неинтересную работу — мне понадобится разрядка мгновенно. Тогда я попрошу: дайте мне распотешиться, дайте мне детектив, чтобы выкинуть из головы ту глупость, которой я занимался. Но я же всю жизнь занимаюсь исключительно чистой работой, так хитро устроился — поэтому мне не надо ни детективов, ни "Космических проституток", — я все это имею в жизни.

— Можно ли сравнить критика с патологоанатомом, режущим по живому?

— Есть такие критики — я думаю, что к ним не отношусь. По этой шкале есть критики-хирурги, есть критики-живодеры — талант там везде может быть. Но я даже не терапевт — скорее психиатр. То есть я хочу понять человека — и не то чтобы его переделать, но войти в него, поделиться с ним своей аурой и из него взять его ауру. Понимаете, психиатр на себя берет болезнь и свое здоровье отдает.

— В общем, вы критик без пистолета?

— Абсолютно. И даже пальцем так — пу-пу — никогда не делал. В меня стреляли, но я никогда не верил, что они всерьез.

— А попали хоть раз?

— Если б и попали, я б не признался. Меня столько трепали и справа, и слева... Я теперь просто благодарен судьбе, что люди как-то реагировали. Ведь самое ужасное, когда не хотят слушать, и ты понимаешь, что говоришь пустое. Тогда ты должен замолчать и не жить — вот это ужасно.

Гостя принимал
Алексей ЕРОХИН.
Фото Игоря ИВАНДИКОВА.